

Георгий Костаки

«Они должны принадлежать России!»

Главы из книги
«Записки коллекционера»

Перед вами воспоминания Георгия Дионисовича Костаки (Костакиса), человека выдающегося во многих отношениях. Грек по национальности, он родился и большую часть своей жизни прожил в России. Лишь на склоне дней вернулся на землю своих предков, где в 1990 году скончался.

У Георгия Дионисовича не было никакого специального художественного образования, но увлечение искусством привело к тому, что он стал коллекционировать живопись, графику, иконы. Костаки приобрел поистине мировое имя, создав уникальную галерею произведений художников русского авангарда.

Деятельность, в которой он видел смысл своей жизни, в Москве, по крайней мере в официальных кругах, не была оценена по достоинству. Да и коллекционер, во всяком случае в предвоенные годы и послевоенные

десятилетия, не афишировал ее. Заграничный паспорт был слабой защитой от произвола властей в те времена, когда за одно упоминание имен художников-авангардистов человек рисковал быть репрессированным. Но Костаки рисковал.

В отличие от дореволюционных предшественников-меценатов Костаки не обладал миллионным состоянием. Он всю жизнь трудился, имел большую семью, все тяготы нашей жизни выносил на своих плечах.

Ограниченность в средствах компенсировалась страстной жадной собирательством. И со временем о его коллекции с почтением заговорили во всем мире. Приезжавшие в Москву, будь то крупный государственный деятель или простой художник, стремились побывать в квартире Костаки на проспекте Вернадского и увидеть

знаменитое собрание. Только «хозяева» московских музеев и их чиновные покровители из Министерства культуры чурались общения с Костаки, с тем, кто настойчиво предлагал передать свою коллекцию государству. Упорство и нежелание верноподанных сломили темпераментного грека. Он вынужден был покинуть любимую Россию, оставив в дар Третьяковской галерее большую часть своего собрания, оцененного, между прочим, в баснословные суммы западными специалистами. Вместе с большим своим семейством Костаки поселился в Афинах. Прошел год, и выставки, составленные из вывезенных им произведений, с триумфом начали путешествовать по престижным залам Европы, Америки и Канады.

В Афинах Костаки завершил свои мемуары, которые сегодня впервые предстают перед широким читателем.

МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ

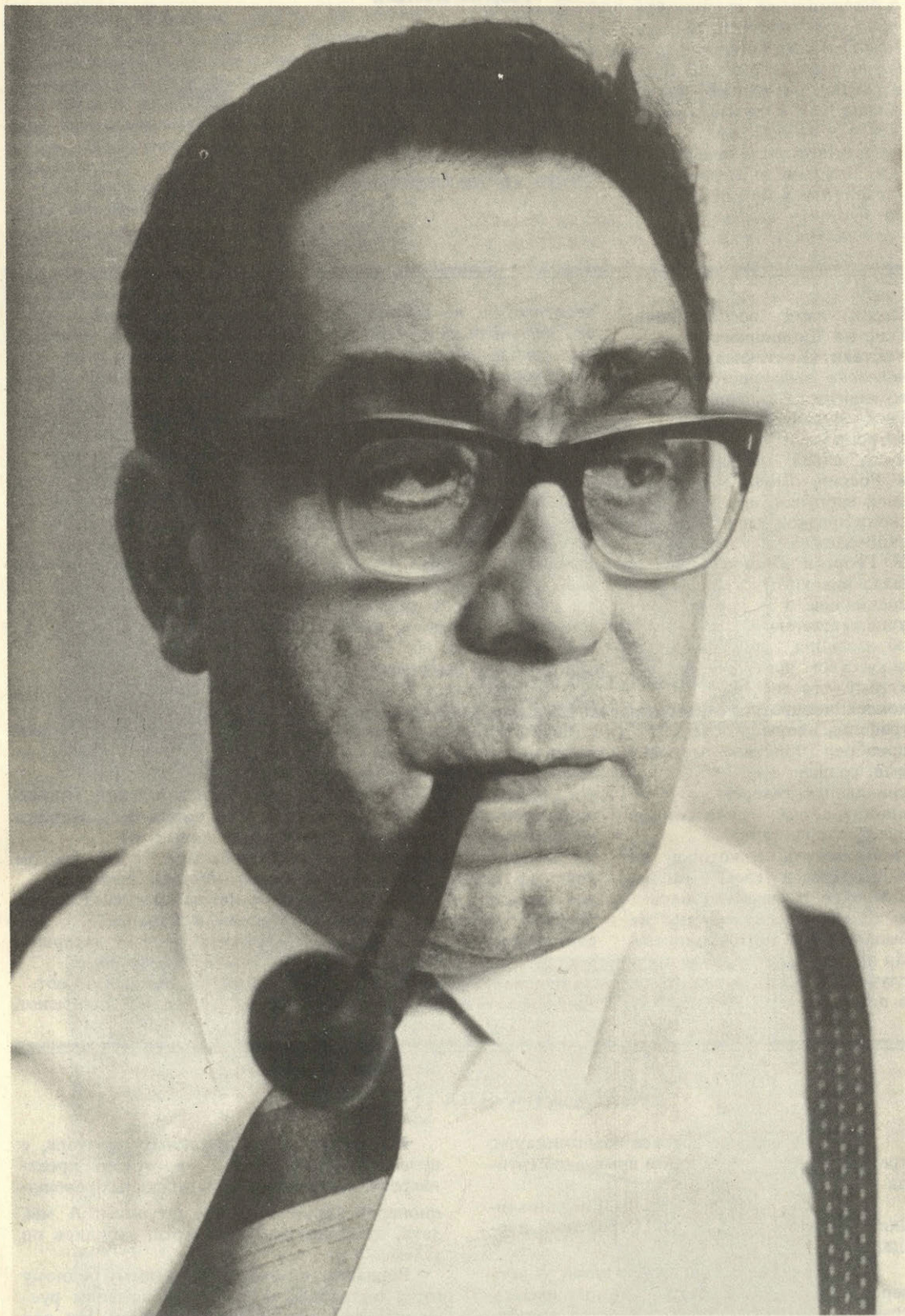
Самое первое мое детское воспоминание: трещит входная дверь, в дом врывается группа вооруженных людей...

Мы жили тогда в Большом Гнездиновском переулке, рядом со Страстной площадью.

Семья была большая: пятеро детей — четверо нас, братьев, и сестра. Отец занимался коммерцией, до революции держали повара, судомойку, горничных. В общем, конечно, были «буржуями»!

И вот пятеро вооруженных до зубов, с пулеметными лентами на груди крестнакрест, возбужденных, агрессивных революционеров берут наш дом штурмом. А мы, дети, перепуганные до смерти, забились по углам.

Ворвавшиеся бросились к моему бедному отцу, пытавшемуся на своем ломаном русском языке что-то им объяснить. Но это только усугубило положение. Иностраннный шпион! Схватив отца, они поволокли его к



Георгий Дионисович Костаки

двери. Рыдающая мать умоляла не трогать мужа... Но и ее правильный русский язык не возымел действия.

Отца утащили бы, но, к счастью, на шум выбежали его бывшие служащие — повар Дмитрий и горничные. Дмитрию отец незадолго до этих событий спас от ампутации руку — к ужасу матери, по совету старухи судомойки, стал лечить начавшуюся гангрену, прикладывая на больное место плесень.

Дмитрий, с красным бантом в петлице, решительно подошел к главному из ворвавшихся и заявил:

— Дионисия Спиридоновича не трогай. Он хороший человек: до революции никого не обижал и к людям, у него работавшим, хорошо относится.

Напряжение спало, но на всякий случай начальник все же приказал своим людям осмотреть чердак. Вернувшись, они сообщили, что, кроме большой крысы, на чердаке ничего не обнаружено. Все собрались уходить. Но тут их задержал Дмитрий, шепнувший что-то отцу. Получив от отца ключи, он поспешил в винный подвал и вернулся с несколькими бутылками. Мать дрожащими руками готовила что-то закусить. Когда сели за стол, главный, подняв рюмку, изрек:

— За твоё здоровье Дионисыч, а мы чуть было не пустили тебя в расход!

И тут же объяснил: неподалеку, на Никитской, час назад стреляли из пулемета, убили двоих детей и нескольких взрослых. С наблюдательного пункта указали на чердак нашего дома — якобы оттуда вели обстрел.

Поблагодарив отца за угощение и не отказавшись взять несколько бутылок с собой, все пятеро поспешили осматривать соседние здания. Перед уходом главный достал из портупеи книжку, заполнил форменный бланк и вручил отцу:

— Это тебе, Дионисыч, вроде охранной грамоты. С этой бумагой тебя никто не тронет.

Этот эпизод врезался в мою память на всю жизнь. Прошло пятьдесят лет, а я помню повара Дмитрия и тех двух горничных, которые были с ним. Да и люди, чуть было не расстрелявшие моего отца, никогда не вызывали во мне чувства ненависти. Позже, когда я начал подрастать, я часто слышал, как отец с матерью говорили, что революция в России была неизбежна, этого следовало ожидать. Не будучи к ней причастными, потерявшие все свое состояние, они критически относились к царскому строю, наивно думая, что новая власть улучшит жизнь простых людей... Несмотря на нужду и голод, слово «товарищ», лаская слух, сближало людей.

Но лубочные плакаты на заборах, изображавшие царя-батюшку в компании с пузатым буржуем и подвыпившим попом, отца страшно возмущали. Он был человеком глубоко религиозным и никогда не мог по-

нять, как можно совмещать добро со злом и как люди могут жить без Бога и церкви.

На первых порах после революции большевики с церковью активно не боролись. На Пасху в церквях по-прежнему шла служба и благовест стоял над Москвой. К заутрене и всенощной первым ударял колокол Страстного монастыря, за ним — менее мощный с колокольни Дмитрия Солунского, стоящей наискосок, и все остальные церкви, что были тут, в районе Тверской. Этот перезвон ласкал слух.

Москва в те годы была малолюдной. По Тверской цокали копыта еще уцелевших лошадей, запряженных в пролетки на дутых шинах. Лихачи важно восседали на козлах в синих поддевах и шапках с меховым околышком.

Мне было лет десять, когда отец решил взять меня к пасхальной заутрене в церковь Дмитрия Солунского (в тридцатые годы ее снесли, воздвигнув на ее месте уродливый жилой дом, на первом этаже которого позже открыли армянский магазин и студию Коненкова).

Накануне родители всячески старались уложить меня днем спать, чтобы я мог выстоять заутреню. Напрасные усилия! Мне было не до сна: пойти с отцом к заутрене было моей давней мечтой.

В церковь мы пришли задолго до торжественного «Христос воскрес». Отец провел меня через служебный ход, и мы оказались рядом с алтарем.

Храм был тускло освещен, слышалось монотонное чтение псалмов. Время от времени священник кадил на иконы и молящихся и тут же исчезал через боковые двери. Запах ладана распространялся по церкви. Царские врата оставались закрытыми... Было ощущение, что все терпеливо чего-то ждут. И наконец, этот момент настал!

Все озарилось ярким светом паникадил, украшенных цветами, воссиявшими вверху под сводами и осветившими клиросы. Храм ожил. Певчие спешили занять свои места. Паникадила, стоявшие на полу, сверкали, будто были сделаны из чистого серебра. Множество цветов, стоявших в корзинах, украшали иконы. От увиденного у меня заколотилось сердце — до этого я никогда и нигде не видел подобной красоты.

Началась пасхальная служба с приглашенным митрополитом Варфоломеем, при участии более пятидесяти священников и дьяконов, облаченных в драгоценные стихари и ризы. Служба сопровождалась пением двух хоров, как бы соревновавшихся друг с другом: не успевал замолкнуть левый клирос, как с правого начиналось песнопение, прерываемое густым басом дьякона: «Господи помилуй...» Правый хор состоял из платных певцов-профессионалов, но очень часто в храмах на большие праздники пели зна-

менитые оперные певцы и певицы. Во втором хоре пели любители-прихожане, но и он звучал весьма профессионально.

Самое сильное впечатление на меня произвел митрополит Варфоломей. Его голову украшала митра с драгоценными камнями, и с боку от него стоял молодой дьячок и держал, прислуживая, его посох.

На вид митрополиту было лет сорок. Тонкими чертами он напоминал мне Христа. Выглядел Варфоломей уставшим. Бледность резко отличала его от остальных священнослужителей, стоявших справа и слева от него. Голос у него был слабый, но абсолютная тишина в храме доносила до слуха молящихся каждое слово.

Песнопения сменялись одно другим. Дьяконы затянули свое «Паки-паки, миром Господу помолимся» — и хор ответил: «Тебе, Господи...» Затем все стихло, и, как бы в диссонанс слаженному хору, начали петь все священники. Они, казалось, пели нестройно,

но их пение придавало еще больше торжества службе. Рядом со священниками стояли мальчики моего возраста, державшие длинные свечи, обрамленные золотой и серебряной каймой.

Помню, что мне почему-то хотелось плакать...

Проснувшись поутру на следующий день и окинув взором дом, в котором я вырос, я почувствовал себя несчастным: все выглядело убогим в сравнении с тем, к чему я привык вчера. За обедом я попросил папу поговорить с отцом Александром, настоятелем церкви, не возьмет ли он меня прислуживать, как прислуживали мальчики, которых я видел.

Через неделю мне выдали стихарь, и, счастливый, я начал почти каждый день бывать в церкви. Перед большими праздниками было так много работы, что я оставался иногда на ночь, засыпая на кипе стихарей в большом алтарном шкафу.

НЕУЮТНАЯ ЖИЗНЬ

Настало такое время — шла вторая половина 70-х годов, — когда я почувствовал, как вокруг меня стали возникать разного рода неприятности.

На первых порах моего увлечения авангардом власти смотрели на это как на какую-то забаву — никто серьезно не обращал внимания. Но вот о моей коллекции начали писать в журналах и газетах, американских и английских, были передачи по «Голосу Америки» и по радио ФРГ. В довершение всего зарубежные музеи стали обращаться в Министерство культуры с просьбами продать, скажем, картину Малевича или Поповой, а там отвечали, что эти картины у Костакиса. Постепенно тайное начало становится явным, то есть люди, и в том числе официальные власти и КГБ, поняли, что «грек-чудак», многие годы собиравший никому не нужный «мусор», на самом деле собрал коллекцию, которая стоит больших денег. И настал момент, когда жить в Москве с такой коллекцией стало неуютно.

Мы все время боялись ограблений, нападения на нас и наш дом. Квартира наша не была как следует защищена, двери, как и во всех советских квартирах, можно было пальцем открыть...

В конце концов так и случилось: меня ограбили. На первый взгляд — все было незаметно. Дверь, на которой стоял прочный замок, никто не взламывал. Окна тоже оставались закрытыми. Тем не менее кто-то проник в квартиру. Со стен ничего не украли, но унесли большое количество работ из моего запасника. Заметил пропажу я лишь недели две спустя. Полез зачем-то в свое хранилище и обнаружил, что восемь Кандинских, из тех, которые я приобрел у вдовы секретаря

художника, пропали... Пропала также большая пачка рисунков и гуашей Клуна и еще некоторые вещи. В общем, много, много пропало...

Разумеется, я сообщил в милицию. Но помочь мне ничем не смогли.

Прошел год. И снова кража. И снова из запасника. В тот день к нам приехал один человек, который часто у нас бывал и считался в общем-то другом дома. Он пригласил всю нашу семью: Зину, меня, дочку и сына — всех куда-то далеко за город на шашлык в какой-то ресторан. Мы уехали почти на весь день. Помню, у меня возникло какое-то недоброе предчувствие... Вернувшись домой, я тут же все осмотрел. На стенах все было на месте, ничего не тронуто. Пошел в запасник: так и есть — кража! Я ужасно расстроился.

Прошло два-три дня, позвонила жена моего брата из Баковки, где у нас еще сохранилась старая дача. В Баковке собирались молодые художники, на даче было очень много работ и рисунков Анатолия Зверева. И вот панический звонок: «Пожар! Горит дом, приезжай скорее!»

Я помчался туда. Полдома уже сгорело. Пожарные приехали, но без воды, гасить нечем. Поднялся я наверх, где хранились работы Зверева — все залито водой, многих вещей нет. На стенах здесь висели иконы, написанные на толстых досках. Если бы они сгорели, остались какие-то следы, но от икон и следа не осталось. Ясно было, что кто-то поджег дачу, чтобы скрыть кражу. Я открыл окно второго этажа и посмотрел вниз — в овраг. Еще лежал снег, и на снегу четко виднелись следы. И еще в снегу валялись работы Зверева и других художников. Ви-

димо, вору таскали награбленное через овраг в машину.

Случилось это в 77-м году. Я был в ужасе и решил обратиться за помощью в самые высшие сферы. Мы с дочерью Лилей написали Андропову, а другое письмо — Брежневу. В этих письмах я объяснял, что украдено большое количество работ из моей коллекции, которая предназначалась для Третьяковской галереи. Об этом уже сообщал журнал «Америка», опубликовавший мое интервью; я заявил, что хочу передать свое собрание в дар Третьяковке, но с условием, чтобы куратором назначили Лилю. Сам же я намеревался доживать свой век в Москве вместе с коллекцией икон.

В своих письмах я просил у правительства помощи. Я ведь догадывался, кто совершил кражу, и сообщал о своих подозрениях. Еще обратился в Управление по обслуживанию дипкорпуса УПДК: просил помочь получить аудиенцию у Андропова, поскольку речь шла об очень важном деле.

Пришли два представителя, видимо, КГБ в штатском. Они сообщили, что товарищ Андропов готовится к съезду партии и не сможет меня принять. Думаю, что и писем моих ни Брежнев, ни Андропов не получили.

Несколько позже меня вызвали на беседу и просили не волноваться: человека, которого я подозреваю, допросят и правда восторжествует. Время меж тем шло, и я узнал, что предполагаемый грабитель собирается уезжать в Англию (он был женат на англичанке). Я сообщил об этом «куда следует». Но мне ответили, что не могут его не выпустить, потому что он английский подданный. Это была чепуха — у него же был советский паспорт, только жена его была английская подданная. Тем не менее он преспокойно уехал, а кражу так и не раскрыли.

Я понял, что меня обманули, и обратился к американским и французским корреспондентам, рассказал всю эту историю. По всем «голосам» начали ее передавать, причем несколько сгущая краски: в одной передаче сказали, что чуть ли не всю коллекцию у меня украли...

После этого шума против меня началась открытая травля и провокации. Меня предупредили, что если я буду настаивать на расследовании, поднимать скандал, то будет хуже: в газетах появятся статьи о том, что Костаки спекулирует картинами. Я ответил, что не боюсь и на статьи в советской прессе отвечу статьями в американских и английских газетах. В общем, произошла крупная ссора. Меня начали запугивать, шантажировать.

Сию я как-то дома, зазвонил телефон. Подошла жена сына — Марьяна: «Папа, кто-то просит господина Костакиса — по-русски». Я подошел: «Алло, я слушаю». — «Это — господин Костакис?» — «Да». В ответ матерная ругань: «Ты, твою мать, жулик, ты пере-

правил много картин за границу, ты не коллекционер, а спекулянт! У тебя все отберут, мы будем обращаться в Министерство культуры и Министерство иностранных дел» и тому подобное.

Возле моего дома время от времени появлялась машина, а то и две, с антеннами для подслушивания, которые выставлялись на три-четыре метра. Телефон все время дренькал — записывали разговоры.

Но я ведь ничего не переправил за границу! Хотя мне и не раз предлагали это сделать друзья-дипломаты. «Мало ли что может случиться», — говорили они. Но я отказывался: «Зачем?»

Я перестал спать по ночам. Было так страшно, что мы с дочерью Лилей перестали ездить вдвоем на машине. Избегали короткой дороги через мост, ведущий к нам на Юго-Запад, — боялись, что грузовиком нас могут спихнуть в реку, ездили по Ленинскому проспекту, делая круг, Лиля на своей машине, я — на своей.

Так продолжалось долгое время. Мы все измучились. И я не выдержал, решил покинуть СССР.

Но это оказалось непросто. Я предложил оставить в СССР большую и лучшую часть своей коллекции и одновременно просил, чтобы часть ее мне разрешили взять с собой. На что мне было содержать семью на Западе?

Приехал я в Министерство культуры, к Халтурину. Он начал жаться и говорить нечто невразумительное: «Георгий Дионисович, что-то происходит, кто-то где-то тормозит, и, видимо, ничего не получится... Может быть, вы просто продадите коллекцию нам и получите деньги? Государство может вам заплатить 500 тысяч рублей». Я возразил: «Что я буду делать на эти 500 тысяч? Остаться я уже не могу и не хочу. А вы меня ставите в положение человека, которому разрешили купить 50 банок икры, с тем чтобы ее продать где-то во французских ресторанах или взять два-три ковра на вывоз!»

Скандал тем временем получил широкую огласку — о нем уже знали все коллекционеры Москвы и Ленинграда, и все боялись иметь со мной дело. Ко мне перестали заходить, перестали звонить. Я остался один, без всякой помощи.

Моя дочка Лиля и жена Зина предложили обратиться к Леониду Семеновичу Семенову, который был в то время заместителем министра иностранных дел. Я его хорошо знал, так как он тоже был коллекционером и имел очень хорошую коллекцию доавангардного периода — много отборных работ Фалька, Лентулова, Павла Кузнецова. Мы часто бывали друг у друга, Семенов очень милый человек, ко мне хорошо относился. Но сумеет ли он мне помочь — я сильно сомневался... Однако Лиля настаивала.

Семенов работал в основном в Женеве

и редко бывал в Москве. Но Лиля через знакомого журналиста выяснила, когда можно застать Семенова дома. И я поехал к нему в правительственный дом на Москве-реке. Просторная квартира, на стенах картины. Я подробно часа два рассказывал о своих делах. Он внимательно слушал. Потом сказал: «Георгий Дионисович, вы попали в руки мафии. Мне, как государственному деятелю, неудобно это говорить, но у нас в КГБ есть «отдел мафии», который делает что хочет — работает «без крыши», то есть без прикрытия. Если что-нибудь случается — их нет... Но им и не запрещают делать то, что они хотят. Хорошо, что вы пришли ко мне. Пойдемте — выпьем водочки, закусим, поговорим».

Мы прошли в столовую, налили по рюмочке, сидим, разговариваем. И он произнес такую фразу: «Георгий Дионисович, я постараюсь вам помочь за ваше доброе сердце и за ваши добрые дела».

И тогда я вспомнил, что за год до этого произошла такая история. Ко мне пришел Чудновский — коллекционер из Ленинграда, очень известный, который тоже знал Семенова. Чудновский обратился за советом: не знаю ли я в Москве хорошего кардиолога, потому что у его внушки редкое заболевание — «блю-берри» — «голубая кровь», — надо делать операцию на сердце, иначе через год девочка умрет. Я ответил, что у меня есть друг — Бураковский, директор Кардиологического института. Я позвонил Бураковскому. Он велел привезти ребенка, посмотрел и сказал, что сделать ничего нельзя, потому что, к сожалению, у него в институте нет специалистов для такой операции. Специалисты есть в США, где эта операция стоит 40 тысяч долларов, и в Лондоне, где это стоит дешевле — 7 тысяч долларов. На следующий день пришел Чудновский, плачет. Тогда я сообразил: «Попроси Семенова, пусть даст визу жене твоего сына, чтобы она отвезла девочку в Лондон». — «А где же деньги, ведь это стоит так дорого!» Я говорю: «А деньги я дам. У меня в Канаде есть доллары. Трудно будет получить визу. Но русские — очень сентиментальные люди, и, когда это касается спасения ребенка, они могут согласиться».

На следующий день я поехал в Госбанк, оформил все как положено — получение в Лондоне денег по чеку.

Словом, пообещал он переговорить на самом верху, с Юрием Владимировичем Андроповым: «Георгий Дионисович, Юрий Владимирович Андропов — мой самый близкий друг, мы с ним как два брата. Когда мы маленькие были, вместе в футбол играли. Когда я приезжаю в Москву, мы всегда встречаемся. Я ему расскажу о том, сколько вы сделали для русского искусства! Юрий Владимирович Андропов — замечательный человек, он — очень честный человек. Он в КГБ работает как Иисус, выметает всю нечисть, всех жуликов».

Проходит день, проходит два — а Семенов мне сказал, что через три дня опять уезжает в Женеву. Я не выдержал и на третий день утром — из дому я не хотел звонить — спустился к автомату. «Алло, — говорю, — да, да, это я». — «Георгий Дионисович, — отвечает, — я же сказал, когда что узнаю, сам вам позволю. Я еще его не видел». Пришел я домой расстроенный: «Лилия, он ничего не сможет сделать»... Лилия в ответ: «Папа, не торопись. Семенов — не такой человек. Если бы он не мог, он бы тебе сказал. Надо ждать».

Проходит еще день. Утром рано — звонок, прямо на квартиру. Семенов: «Георгий Дионисович, вчера видел Юрия Владимировича, все ему рассказал, все объяснил. Он очень возмущен действиями своих людей. Если вы хотите уехать, можете это сделать. Но если вы хотите оставаться, то стопроцентная гарантия, что вас никто пальцем не тронет. Что касается вещей, которые у вас украли, сейчас трудно сказать, найдутся или нет, но относительно тех двадцати процентов, что вы просили разрешить вам вывезти, то на это получите «добро» буквально на днях».

Еще несколько дней прошло. Вечером я выхожу из посольства, прошел через парадный вход мимо охранника, открываю дверь, выходит, а мне сверху кричат: «Мистер Костакис, телефоун фор ю». Я — «Алло». А это Халтурин из Министерства культуры: «Георгий Дионисович, разрешение получено. Когда можно приехать начинать?» Я говорю: «Хоть завтра, пожалуйста».

ПРОЩАНИЕ С МОСКВОЙ

Картины, которые я собрал, были для меня, что родные дети... В преддверии расставания я мучительно думал о том, что каждая вещь, которая уйдет от меня, это — часть меня самого, и я буду чувствовать боль, как от кровоточащей раны.

Однако потому, быть может, что я все это уже так ярко пережил в душе, в решающий момент жена и дети были просто поражены моей стойкостью. Пришел Манин,

заместитель директора Третьяковской галереи, и мы начали дележку...

Надо сказать, что Манин оказался благороднейшим человеком. Порой у нас с ним доходило до спора. Он говорил: «Это, Георгий Дионисович, оставьте себе». А я в ответ: «Нет, это вы должны взять, потому что это — единственная вещь, и второй такой нет». Так было, например, с моим любимым рельефом «Природа», который я

просто обожал. Клюн, который воспроизведен на обложке большой книги,—я знал, что этот Клюн — один-единственный, и не хотел брать его с собой, настоял на том, чтобы музей оставил ее себе.

Так и шла наша дележка... Настрой у меня был таков: я, Георгий Костаки, действительно сделал большое дело, но ради чего, для кого? Лично для себя? Нет. Жизнь человека коротка. Пройдет еще десять, ну, двадцать лет, меня не будет, а после себя нужно что-то оставить, хотя бы доброе имя. Каждый человек должен об этом думать, сознавая, что настанет его время уйти в поднебесье.

Я всегда считал, что сделал добро тем, что сумел собрать то, что иначе было бы потеряно, уничтожено и выброшено из-за равнодушия и небрежения. Я спас большое богатство. В этом моя заслуга. Но это не значит, что спасенное должно принадлежать именно мне или кому-нибудь другому, кому я мог бы завещать свои картины. Они должны принадлежать России, русскому народу! Русский народ из-за глупости советских властей не должен страдать. С таким настроением мне было очень легко все передать людям. И я отдал.

Легче легкого было бы взять лучшее себе. Я мог взять Малевича «Портрет Матюшина». Отдать несколько Ларионовых, еще что-то и взять Малевича... Но я не стал этого делать. Не взял потому, что, пока я жил в России и создавал эту коллекцию,

у меня было много друзей, которые меня уважали и очень хорошо ко мне относились. И я думал, что если я возьму «коронные» вещи, в том числе, скажем, «Портрет Матюшина», что же скажут потом мои друзья? Скажут, что Костаки радел не за искусство, за русский авангард, а просто соблюдал свой интерес и, зная цену произведениям, он, сукин сын, взял все лучшее и увез! Меня бы осудили даже самые близкие. Я не пошел по такому пути и считаю, что поступил правильно.

Дележка коллекции заняла несколько дней. В музее меня очень торопили: «Давайте, давайте быстрее». Я никак не мог понять, к чему такая спешка. Лишь позже выяснилось, что через месяц в музее ждали приезда большой группы директоров, кураторов и искусствоведов из разных стран. Гостям намеревались показать русский авангард, и в том числе, конечно, мои вещи. Для этой цели в Третьяковской галерее была выделена большая зала, где и развесили примерно сто картин. Из них 49 принадлежали к моей коллекции, причем лучшие, «коронные» вещи. Мне посчастливилось увидеть все это совершенно случайно, еще до открытия выставки. В отделе икон работала знакомая реставраторша, она меня провела в заветный зал, и я, быстрым взглядом окинув стены, все увидел. Прекрасная была экспозиция! Под моими работами значилось: «Дар Георгия Дионисовича Костаки».



Г. Д. Костаки на выставке. Прощание с Москвой, прощание с Россией...